

СЕСТРА, ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ВЕКОВ ПУТИ



18+

Алексей Зарницын

Сестра. Четырнадцать веков пути

«Автор»

2026

Зарницын А.

Сестра. Четырнадцать веков пути / А. Зарницын — «Автор»,
2026

Земля, 2127 год. Андрею Лацису 28 лет, он инженер и руководитель первой межзвёздной экспедиции. Его корабль направляется к планете Kerper-452b, которую экипаж называет Сестрой. Восемь лет полёта, гибернационный сон — и они увидят мир, который, возможно, ждал их. Но чем больше данных собирают приборы, тем яснее одно: эта планета не просто красива. Она загадочна. И она не безмолвна. Это история о людях, которые несли в космос не оружие, а память. Медленное, тёплое, глубокое чтение для тех, кто верит, что разум — это прежде всего умение слушать.

© Зарницын А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Введение	5
Глава 1.	8
Глава 2.	12
Глава 3.	21
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Алексей Зарницын

Сестра. Четырнадцать веков пути

*«Человек должен быть человеком.
Это самое главное. И если он хочет
остаться человеком — он должен
искать.»*

— *Аркадий и Борис Стругацкие, «Обитаемый остров»*

Введение

Меня часто спрашивали потом — и свои, и чужие, и те, кто пришёл позже, когда всё уже закончилось или, вернее, перетекло в иную фазу, как перетекает река из горного ущелья в спокойную долину, — спрашивали, с чего это началось: великое, трудное, местами горькое дело, которое одни называли Первой Межзвёздной, а другие, с усмешкой или тревогой, — Прыжком в Неизвестность, и в самом этом разное имён уже угадывалась та особая, ни на что не похожая природа предприятия, когда даже язык не поспевает за событием и хватается за первые попавшиеся слова, как ребёнок хватается за край одежды взрослого, боясь отстать. Я отвечал по-разному, смотря по тому, кто спрашивал: с инженерами — про цифры и допуски, потому что инженеру всякая правда легче даётся через десятичную запятую; с начальством — про историческую необходимость, которая в устах любого руководителя звучит весомее, чем в моих; с друзьями — про тоску по горизонту, про этот древний зуд в подошвах, который гнал наших предков через океаны, через пустыни, через ледники, а теперь вот погнал через саму ткань пространства, и кто я такой, чтобы спорить с эволюцией? Но самому себе, в редкие минуты настоящей тишины — той тишины, какая бывает только высоко в горах, когда даже ветер засыпает и озёра внизу лежат недвижные, как зеркала, забытые великанами, — я говорил иначе, проще, без единой цифры и без единого возвышенного слова: началось с заката. С одного-единственного заката на плато Укок, в конце июня 2127 года, за восемь дней до старта. И сейчас, три десятилетия спустя, я готов поклясться, что тот закат всё ещё длится где-то внутри меня — как тлеет под золой уголь, которому не хочется гаснуть.

Теперь, когда мне перевалило за шестой десяток и в бороде — если я позволяю ей отрасти на неделю-другую, а позволяю я это себе всё реже, потому что седина старит лицо, а стареть лицом я пока не согласен, — проступает уже не пепельная, а откровенно белая, почти снежная полоса, я всё чаще ловлю себя на странном свойстве прожитых лет: тот вечер, тот единственный вечер на плато Укок помнится мне сейчас яснее и подробнее, чем вчерашний разговор с коллегами по Совету, хотя разговор был важный, с цифрами, с решениями, с подписями, а вечер — всего лишь вечер, один из многих, ничем не примечательный для постороннего глаза. Но память — странный инструмент, и чем дольше я с ней работаю, тем меньше понимаю её механику: годы она сжимает в сухую точку, как отработанную ступень, которую не жалко отбросить, а мгновение — одно-единственное, случайное, казалось бы, — растягивает на десятилетия, разглаживает, просматривает на свет, как старую голограмму, и не устаёт возвращаться к нему снова и снова, находя в нём новые слои, новые оттенки, новые смыслы, которых я тогда, в двадцать восемь лет, точно не замечал.

Тридцать лет минуло — тридцать земных лет, полных событий, потерь, открытий, имён, которые уже не с кем произнести вслух, — а я всё ещё стою там, на «Балконе», опершись локтями о тёплый поручень, и смотрю, как солнце садится за пик Табын-Богдо-Ола, и ничего во мне не требует формул, ничего не требует выводов — только молчания и покоя. Того самого

покоя, который, как сказал бы Пётр Ильич, «дороже исправного двигателя», и сказал бы он это без улыбки, потому что к двигателям он относился с почтительностью, а к покою — с уважением человека, который слишком часто его терял. Он вообще любил сравнивать душевные материи с техникой — не от чёрствости, а от особой, редкостной ясности ума, которая не позволяла ему прятаться за туманные слова; и надо признать, его сравнения часто оказывались точнее моих расчётов, а уж я-то в расчётах был хорош. Но Пётр Ильич умел видеть то, что за цифрами: он говорил — «память не архив, а навигационная система, она не хранит всё подряд, она прокладывает маршрут обратно к тому, без чего ты перестанешь быть собой», и я, только сейчас, на седьмом десятке, начинаю понимать, до чего же он был прав.

Мы были молоды, неопытны в главном и самонадеянны в мелочах — как, впрочем, и всякое поколение, которому выпало жить на изломе эпох, когда одна историческая плита, отшлифованная веками, медленно, с гулом уходит под другую, и ты стоишь на самом стыке, чувствуя подошвами вибрацию грядущего, но ещё не зная, что именно оно принесёт: обвал или новую твердь. Позади оставалась долгая, кровавая, немыслимо трудная история человечества — история, которую мы знали не по учебникам, а по лицам родителей, по их молчанию за вечерним чаем, по тому, как они вздрагивали, услышав случайную интонацию, напомнившую им то, о чём они никогда не рассказывали вслух; впереди же мерцала возможность, которой ещё не знало ни одно живое существо во Вселенной, — и мы, сами того не сознавая, были её первыми разнорабочими, её чернорабочими, её, если угодно, испытателями на себе.

Мы пытались построить мир, в котором человек человеку — не волк, не конкурент, не средство для извлечения прибыли или славы, а, скажем так, товарищ по общему делу; и пусть это звучит немного по-старинному, пусть от этих слов веет чем-то из двадцатого века, из прокуренных комнат и жарких споров до рассвета, — я не стесняюсь их, потому что они были нашей правдой, а правда, даже наивная, даже недостижимая, стоит того, чтобы её помнили. Иногда у нас получалось лучше — и тогда в столовой пахло свежим хлебом, а в коридорах звучал смех, и ты знал: вот оно, то самое, ради чего всё затевалось; иногда — хуже, и тогда мы спорили до хрипоты, переписывали планы, снова брались за расчёты, не спали ночами, злились на себя и друг на друга, но не расходились; а иногда получалось до смешного плохо, и вот об этих «смешных» случаях я, пожалуй, вспоминаю с особой теплотой. Потому что ошибки, если они не от злобы, а от избытка надежды, если они рождены не корыстью, а тем особым, молодым нетерпением сердца, которое хочет сразу, сейчас, немедленно построить рай, но ещё не знает, что рай строится не из мрамора, а из черновиков, — такие ошибки не разрушают, они учат. И если вы никогда не присутствовали на заседании, где трое серьёзных академиков два часа спорят о том, как правильно назвать новый сорт яблони для марсианских куполов, и спор этот начинается с ботанической систематики, а заканчивается цитированием античной поэзии и взаимными упрёками в недостатке вкуса, — вы, можно сказать, не знаете, что такое настоящее счастье.

Я пишу это не для истории — для неё напишут другие, лучше меня, аккуратнее, с примечаниями и ссылками на источники, — а для себя самого и, может быть, для тех двух-трёх человек, которые ещё помнят Петра Ильича, помнят Миронову, помнят смех в коридоре жилого корпуса и запах хвойного экстракта из климатических фильтров, который техники в шутку называли «Запах спокойной совести». Хорошее название, между прочим. Техники вообще умели давать вещам имена — не по инструкции, а по сути, и в этом был свой, отдельный талант, за который я их и любил: за умение превратить безликую аббревиатуру в человеческое слово. Я бы к тому названию ещё добавил — «Запах спокойной совести, которая пока не знает, что через неделю её заморозят до минус двухсот», но, боюсь, на табличку оно бы не поместилось.

А теперь, когда я пишу это и за окном моего нынешнего кабинета шумит совсем другое время, я вдруг понимаю, что всё, решительно всё, что случилось потом — и великое, и горькое, и то, о чём до сих пор не получается говорить без кома в горле, — началось именно там: на

плато Укок, в комплексе «Горизонт», длинным июньским вечером, когда солнце не торопилось уходить, а ложилось на вершины медленно, как усталый путник, знающий, что впереди у него ещё целая ночь и можно никуда не спешить. Мне было двадцать восемь лет, я ещё не знал, что такое настоящая потеря, и верил — наивно, упрямо, по-хорошему, — что человечество ставит себе только те задачи, которые может разрешить. Через несколько лет я узнаю, что это не всегда так, что есть задачи, которые ставят нас самих — без спросу, без предупреждения, без гарантий, — но именно та, молодая, ещё не битая вера и несла нас через пустоту, как несёт корабль попутный ветер, которого не увидишь и не пощупаешь, но без которого никакая навигация не имеет смысла. Так что не спешите хоронить наивность: иногда иллюзия — лучший двигатель, чем знание, а надежда — более точный прибор, чем любой спектрометр.

Глава 1.

Смотровая площадка седьмого уровня, которую все в Центре по привычке звали просто «Балконом», выдавалась над долиной длинным стеклянным языком. Стекло было не простым — «живой» кварц с переменной прозрачностью, сейчас настроенный на полную проницаемость, отчего казалось, что между мной и пропастью нет ничего, только воздух. В этот час площадка пустовала — только я и закат. Я любил приходить сюда один, без коммуникатора на голосе, без планшета, без вечных вопросов, на которые нужно отвечать быстро и точно; здесь требовалось иное: молчать и впитывать.

Я опёрся локтями о холодный поручень. Металл под пальцами был слоистым, с микроподогревом — умный сплав сам чувствовал температуру кожи и подстраивался, чтобы не забирать тепло. Хорошая штука, разработка наших инженеров из Новосибирского Института Адаптивных Материалов, и я подумал с неожиданной благодарностью, что где-то там, в лабораториях, кто-то когда-то мучительно решал проблему зазоров в композитном слое, чтобы сейчас мои ладони не мёрзли на вечернем ветру. Мы тогда, года три назад, ещё на стадии испытаний, спорили до поздней ночи о толщине полимерной подложки, и ребята из материаловедческого сектора перебрали с десятков конфигураций, пока не остановились на «дышащей» ячеистой структуре, которая пропускала инфракрасное излучение от ладони ровно настолько, чтобы термопара под ней срабатывала за доли секунды. Всё это вспоминалось сейчас не как сухая техническая история, а как тёплое свидетельство того, что о человеке помнят — даже когда он просто стоит и смотрит на закат.

Я машинально коснулся переносицы, поправляя то, чего давно не существовало. Старая привычка, въевшаяся в моторику: когда-то, ещё мальчишкой, я носил тяжёлые очки в роговой оправе, отец называл их «велосипедом», а потом, в четырнадцать лет, мне провели оптическую коррекцию нового поколения — удалили собственные хрусталики и вживили адаптивные биоимпланты «Сокол-М». Никаких линз, никаких дужек, только две микроскопические станции на зрительных нервах, способные давать идеальную резкость от ближнего горизонта до звёздной величины 7.5 без приборов, а заодно выводить интерфейс на сетчатку. Но жест поправить несуществующую оправу остался, как память о том неуклюжем мальчишке, который близируко щурился на школьную доску, и мать, хирург-офтальмолог, оказалась права: «Андрюша, ты теперь всю жизнь будешь искать на носу то, чего нет». И ведь ищу, подумал я с лёгкой досадой на самого себя, и ничего с этим не поделать.

На миг перед глазами вспыхнула и погасла тонкая голубая строка — визуальный помощник поймал произвольное движение зрачка и счёл его за команду. Я качнул головой, отключая интерфейс до конца вечера, потому что не хотел сейчас никаких спектральных данных в микронах, никакого анализа взвесей — пусть этот закат останется просто закатом, светом и красками, тем, что трудно объяснить, но легко почувствовать.

Внизу, в котловине, лежали три озера — Верхнее, Среднее и Нижнее. Когда-то, ещё до постройки Центра, здесь была сухая высокогорная степь, продуваемая всеми ветрами плато Укок, но инженеры-гидротехники проложили сеть каналов от тающих ледников массива Табын-Богдо-Ола и запитывали искусственный каскад. Озёра назвали Мультигинскими — в память о тех, природных, что остались далеко на западе, в отрогах Катунского хребта, и говорили, что первый директор Центра, седой академик с лицом рериховского странника, сам выбрал это имя: «Пусть напоминают о красоте, которую мы храним, а не только о той, которую ищем». Фразу выбили на мраморной плите у главного входа, и я, сколько ни проходил мимо, каждый раз ловил себя на том, что она звучит в голове именно его голосом — неторопливо, с какой-то старой, почти утраченной ныне убеждённой.

Солнце садилось за пик Табын-Богдо-Ола, и снег на вершине не просто горел — он плавился в оранжевый, потом в вишнёвый, потом в тот неуловимый фиолетово-пепельный оттенок, который бывает только на очень больших высотах, где воздух разрежен и не мешает чистому цвету. Небо над плато было неестественно глубоким, пронзительным — летнее тепло уже высушило из атмосферы всю лишнюю влагу, оставив только прозрачность, звенящую, как натянутая струна, и оттенки перетекали один в другой медленно, торжественно: от бирюзы в зените до жёлтого, оранжевого и, наконец, густо-малинового у самого горизонта, где свет застревал в дымке над озёрами. Я стоял и думал о том, что человеческий глаз даже с имплантами не способен передать всю эту градацию в полной мере — она должна проживаться, а не анализироваться, и, честно говоря, меня уже начинало слегка раздражать, что я даже в такой момент мысленно спорю со своими же имплантами. Они бы, конечно, разложили свечение на спектр, выдали температуру и химический состав, но перед тем, что нормальные люди называют просто красотой, они всё равно были бы бессильны, и эта их беспомощность почему-то радовала.

Где-то там, за этим небом, за пределами Солнечной системы, за теми звёздами, которые пока ещё не видны, но скоро проступят в темноте, вращается вокруг старого жёлтого карлика планета Kerler-452b. Сестра — так мы называли её между собой, неофициально, почти нежно. Тысяча четыреста световых лет — цифра, которую человеческий мозг способен записать на сетчатку через интерфейс, но не способен вместить сердцем, а мы собирались преодолеть это расстояние за восемь лет субъективного времени, и в этой несоразмерности было что-то почти неприличное, как будто мы обманываем Вселенную. Гибернационные камеры второго поколения, варп-ускорители, прошедшие серию испытаний на дальней орбите Плутона, двигатели, работающие на принципах, которые ещё в прошлом веке числились в разделе «теоретическая фантастика», — всё это должно было сработать, и я, инженер, вроде бы знал почему, но сейчас, глядя на закат, предпочёл не вспоминать формулы, а просто удивиться тому, что мы вообще на это решились.

Я переплёл пальцы и хрустнул ими — ещё один ритуал, за который меня вечно корила мать: «Андрюша, руки береги, они тебе ещё понадобятся». Она говорила это с профессиональной убеждённостью хирурга, для которого пальцы — главный инструмент, а я тогда отшучивался, что я не хирург, а инженер, мои инструменты — чертёж и голографическая модель. Теперь, когда до старта оставались считанные дни, я вдруг понял её тревогу совершенно иначе: там, в пустоте, в гибернационном сне, каждый сустав, каждый позвонок станут драгоценны, потому что моё тело — единственный корабль, который я не смогу починить никакими утилитами и патчами.

С площадки открывался вид не только на озёра, но и на восточную часть Центра — белые корпуса, плавно вырастающие из холмов, как будто они не построены, а вылеплены самой землёй, зеркальные панели солнечных коллекторов, сейчас поймавшие последний свет и оттого казавшиеся листами ковanej меди, кольцевая посадочная платформа с учебным атмосферным челноком, который уже имел те же стремительные обводы, что и тот, что через несколько дней унесёт нас на орбиту. Дальше, почти у самого горизонта, вращались лопасти гравитационных подъёмников — медленно, величественно, как крылья мельницы из детской сказки, только сказка эта была уже не про прошлое, а про будущее, и они работали почти бесшумно, если не считать низкого утробного гула, который не столько слышишь ушами, сколько ощущаешь внутренностями.

«Горизонт» — наш дом, наш форпост на пути к иным мирам, и мне вдруг подумалось, что этот комплекс построили не столько ради науки, сколько ради вот этого самого чувства — стоять на краю и смотреть вдаль. Человеку всегда мало того, что у него есть, и в этой вечной неудовлетворённости есть что-то и раздражающее, и трогательное одновременно, потому что именно она нас двигает, именно из неё вырастают все эти корабли и варп-ускорители. Глядя

на закат, я не мог отделаться от ощущения, что прощаюсь не только с этими озёрами, но и с целой эпохой — с тем временем, когда Земля была единственным домом, и от этого становилось немного неловко перед самим собой за такую высокопарность, хотя она была совершенно искренней. Завтра или через неделю мы оторвёмся от орбиты, и та ниточка, что ещё связывает нас с этой планетой, станет такой тонкой, что, пожалуй, только в гибернационном сне и останется о ней память — а мы проснёмся уже другими или, что вернее, просто очень старыми людьми в чужом небе.

Снаружи я был сух, собран, почти аскетичен — узкое лицо, бледная кожа, серо-голубые глаза, которые коллеги в шутку называли «инженерными»: слушают и почти не моргают, будто считывают данные. Но внутри, там, где не было нужды в схемах и расчётах, я оставался обычным человеком, который любил чай с чабрецом, тишину до рассвета и простые слова — «ничего, разберёмся», которые почему-то всегда успокаивали лучше любых гарантий.

Коммуникатор на запястье — тонкая полоска био-силикона, разворачивающаяся в мини-атюрную голограмму при нажатии — мягко завибрировал, возвращая меня из задумчивости в реальность. Я опустил взгляд и коснулся сенсора; над браслетом развернулось полупрозрачное сообщение, белым по воздуху: «Лацис А.Л., завтра с 07:00. Медосмотр перед гибернационной подготовкой. Не опаздывать. Старший врач Миронова». Вот и первый звончок — или, вернее, первый удар часов, отсчитывающих время до старта. Я сжал пальцы в кулак, и голограмма погасла, растворилась, будто её и не было.

Я ещё раз глянул на догорающий закат. Краски уже тускнели, переходя в пепельные сумерки, над озёрами поднимался тонкий слой тумана, подсвеченный теперь не солнцем, а первыми холодными звёздами, и воздух, пропитанный запахом сухих трав и близкого снега, пощипывал щёки. Холод пробирался под воротник форменного кителя, напоминая, что я ещё жив, что кровь пока бежит по венам, а сердце сокращается в привычном ритме, — скоро всё это заморозят до минус двухсот, сердце встанет, и я буду существовать лишь как потенциал, возможность, а не факт. От этой мысли не было страшно, но было странно, почти нереально, как будто речь шла не обо мне, а о ком-то другом, с кем я когда-то случайно познакомился и теперь провожаю в долгую дорогу.

Я оттолкнулся от поручня и медленно пошёл к выходу, чуть сутулясь — ещё одна привычка, введённая за годы работы над чертёжными столами и голографическими планшетами. Стекланные двери раздвинулись бесшумно, впуская меня в освещённый коридор жилого корпуса, где свет был мягким, тёплого спектра — под цвет утреннего солнца, чтобы не сбивать циркадные ритмы. В воздухе пахло озоном от климатических фильтров и лёгким ароматом хвойного экстракта, который техники в шутку называли «Запахом спокойной совести», и где-то под потолком тихо переговаривались системы фонового жизнеобеспечения — их голос я давно перестал замечать, как не замечаешь собственное дыхание.

На полпути к лифту я столкнулся с Петром Ильичом, нашим главным планетологом. Он был из той породы людей, чей облик с годами не столько стареет, сколько обтачивается временем, как валун — водой. Грузный, но не рыхлый, скорее плотно сбитый, словно слепленный из материала повышенной прочности, с широкими плечами и тяжёлыми руками, с крупными, чуть деформированными в суставах пальцами — наследием десятков полевых сезонов, когда породу шупают не только спектрометром, но и собственными ладонями. Седые волосы он стриг коротко, почти под машинку, и они топорщились надо лбом серебристым ёжиком, контрастируя с густыми, ещё тёмными бровями, под которыми прятались глаза — небольшие, карие, с припухшими веками, но удивительно ясные, без старческой желтизны, с привычкой смотреть на мир сразу в двух масштабах. Одевался он не по форме, а по удобству — мягкая тёмно-серая куртка из материала с эффектом «памяти ткани», который сам разглаживал складки, да старые полевые ботинки на магнитной шнуровке. Единственной данью регламенту был нашивной знак на левом рукаве: серебристый глобус, оплетённый орбитами.

— Андрей Леонидович, всё медитируете? — улыбнулся он одними глазами, потому что остальная часть лица оставалась спокойной, как у человека, который давно разучился тратить мимику впустую.

— Да не медитирую, — ответил я без раздражения, скорее с лёгкой усталостью от собственных мыслей. — Пытаюсь запомнить, чтобы там было с чем сравнивать. А то прилетим — а там только красная пыль и никакого заката, и что я тогда буду вспоминать?

Планетолог понимающе кивнул и не стал продолжать расспросы — он вообще умел вовремя замолчать, редкое для учёного качество, которое я в нём особенно ценил.

— Завтра на медосмотр? — спросил он, бросив быстрый взгляд на моё запястье, где ещё не до конца угасло свечение коммуникатора.

— Да, семь утра. Как обычно — ни свет ни заря.

— Ничего, после осмотра Миронова обычно выписывает талон на лишнюю порцию чая, так что не всё так страшно.

Мы разошлись, и я вошёл в лифт — кабину без троса, движущуюся в магнитном поле шахты почти бесшумно. Двери сомкнулись, отсекая коридорный свет, и я прислонился спиной к прохладной стене, отделанной матовым пластиком цвета слоновой кости; кабина мягко загудела низкой, успокаивающей частотой, набирая скорость. Я закрыл глаза и подумал, что через несколько дней этот звук сменится иным — низким, утробным рокотом двигателей межзвёздного корабля, которому предстоит нести нас через абсолютную пустоту, и что озёра, и этот закат, и запах хвои — всё останется здесь, на Земле, в памяти, а потом, возможно, превратится в сон, который мы будем видеть в гибернации, сон о доме, который уже не вернуть.

И всё же на душе было спокойно, почти по-домашнему, хотя я отлично понимал, что это спокойствие — не уверенность, а просто усталость и хороший вечер. Потому что я знал — или, по крайней мере, очень хотел в это верить, — что человек из нашего Союза везёт дом с собой не в чемодане, а в таких вот мелочах: в привычке хрустеть пальцами, в бессмысленном жесте поправить очки, которых нет, и в чашке чая с чабрецом, которую даже на Kepler-452b придётся заваривать точно так же, иначе какой смысл лететь так далеко.

Глава 2.

Проснулся я рано, когда небо над плато только начинало наливаться бледной голубизной, а звёзды ещё не погасли, но уже утратили ночную резкость, став из серебряных гвоздей просто бледными точками на выцветающем бархате. Импланты услужливо подали сигнал в зрительный нерв — мягкая янтарная строка в левом верхнем углу поля зрения: «06:12. Температура за бортом: 7 °С. Ветер: северо-западный, 4 м/с. Давление: 672 мм рт. ст.» Я моргнул, убирая интерфейс, и ещё несколько минут лежал неподвижно, слушая, как просыпается тело — этот древний, мудрый механизм, которому не нужны ни импланты, ни процессоры, чтобы знать: утро настало, пора жить дальше.

Сначала — глубокая, почти осязаемая тишина. Потом — собственное дыхание, спокойное и ровное, как волны невидимого моря. Потом — далёкий, едва различимый гул гравитационных подъёмников, которые никогда не останавливались и служили чем-то вроде механического пульса всего комплекса, его размеренного, надёжного сердцебиения. Я пошевелил пальцами ног под покрывалом, размял запястья — осторожно, без резких движений, потому что двадцать восемь лет, конечно, не старость, но тело после вчерашнего долгого стояния на смотровой требовало к себе бережности, почти нежности.

Я сел на край койки и опустил босые ступни на тёплый пол. Утро. Последние дни на Земле. Каждое из них теперь будет иметь цену, которую осознаёшь не сразу, а постепенно, по капле, как просачивается вода сквозь трещину в камне — незаметно, но неостановимо.

Одеваться в форменный китель не хотелось. Сегодня — никаких инспекций, никаких официальных встреч до самого медосмотра, и я позволил себе ту малую, почти интимную свободу, которую даёт одежда, выбранная не по уставу, а по душе. Я выдвинул неглубокий ящик встроенного шкафа, сделанного из светлого пластика с текстурой под древесину — наши дизайнеры, кажется, потратили немало усилий, чтобы даже казённая мебель выглядела как домашняя, — и достал джинсы из плотного органического хлопка, чуть грубоватые на ощупь, хранящие память о десятке стирок. Поверх натянул свитер тёплого оранжевого оттенка — почти тыквенного, чуть приглушённого, какой бывает у осенних листьев, пролежавших день на солнце. Его связала мать года три назад и прислала с оказией: толстая шерсть ангорской козы, мягкая, но не колючая, с высоким горлом, которое уютно облегало шею. Я носил его редко, только в дни, когда хотелось чувствовать себя не «руководителем экспедиции», а просто Андреем — и сегодня был именно такой день.

Вообще, одежда в наше время давно перестала быть знаком статуса или достатка, превратившись в дело сугубо личное, почти интимное: после того как текстильная промышленность перешла на безотходные биофермы и замкнутые циклы, каждый мог заказывать ткани и фасоны через сеть мастерских — без денег, просто по потребности и вкусу, — и здесь, в «Горизонте», среди белых лабораторных стен, люди носили кто что хотел, от классических кителей до ярких этнических узоров Океанического Союза, и никому не приходило в голову мерить друг друга по одежке.

Я прошёлся к низкому кедровому столику, включил чайник — простой керамический, с нагревательным элементом на основе графеновой плёнки, почти бесшумный. Достал из жестяной коробки щепотку чабреца, бросил в кружку, залил кипятком. По комнате поплыл густой, тёплый, чуть пряный запах — запах алтайского лета, собранного в крошечных сушёных листочках, запах, который я с детства считал лучшим лекарством от любой тревоги. Рядом, на блюде, лежала булка из местной пекарни при Центре — сдобная, с хрустящей корочкой, испечённая ещё вчера вечером. Я разломил её пополам, намазал абрикосовым джемом, присланным матерью в последней посылке, и откусил, запивая горячим чаем. Простая, даже ску-

пая еда — но именно в её вкусе и фактуре было что-то, что держало меня на земле крепче любой гравитации.

Покончив с завтраком, я сел за рабочий стол. Провёл ладонью над сенсором, и из недр консольной панели мягко выдвинулся плоский, гибкий прямоугольник размером с небольшую книгу. Журнальчик — так мы называли это устройство между собой: лист многослойного графен-волокна толщиной в полимерную плёнку, способный сворачиваться в трубку и разворачиваться до формата А3, с дисплеем на органических светодиодах третьего поколения, дававшим матовую, чуть зернистую картинку, имитирующую бумагу. Внутри, в герметичной полости размером с ноготь, работал квантовый процессор на холодных атомах — вычислительная мощность, которая ещё полвека назад заняла бы целый этаж научного института, а теперь умещалась у меня на ладони, не требуя ни вентиляции, ни громоздкого охлаждения, лишь тонкой индукционной подпитки от самой столешницы.

Я развернул журнальчик до удобного размера, коснулся сенсора включения, и по плёнке пробежала едва заметная волна — устройство просыпалось, готовое служить. Пара секунд — и передо мной развернулся интерфейс Сети.

Сеть. Когда-то, ещё в начале века, её называли Интернетом — пространством хаотичным, коммерческим, замусоренным рекламой и фальсификациями. Но за сто лет многое изменилось. После того как человечество перешагнуло через старые формы хозяйствования — те самые, что веками заставляли людей бороться друг с другом за ресурс, за место, за право быть услышанным, — и вышло наконец к иному укладу, где труд перестал быть товаром, а знание перестало быть привилегией, Сеть обрела новое дыхание. Она перестала быть рынком и стала, скорее, бескрайней библиотекой — не в том смысле, что кто-то сверху решал, что людям читать, а в том, что исчезновение частной собственности на информационные платформы убрало саму основу для манипуляции. Технической базой служила система геостационарных спутников-серверов, связанных квантово-запутанными каналами с наземными узлами; скорость — мгновенная, задержка — стремящаяся к нулю; цензура отсутствовала как явление, потому что исчез сам субъект, которому могло бы понадобиться заглушить чужой голос. Споры, конечно, случались — и жаркие, — но велись они не за прибыль, а за истину, которая, как известно, всегда конкретна и не терпит суеты.

Я коснулся иконки «Общая повестка» — сводного информационного канала, каждое утро собиравшего картину дня из сотен локальных источников. Не «новости» в старом, сенсационном смысле, а спокойный, обстоятельный обзор, напоминавший по тону прогноз погоды советских времён: без пафоса, без запугивания, с уважением к слушателю.

Над журнальчиком соткалась мягкая голограмма текста. Я пробежал глазами:

«Орбитальная группировка Союзгидромета завершила калибровку климатических моделей на предстоящий сезон. Ожидается тёплое лето на большей части Евразийского Союза, благоприятное для сельскохозяйственных работ».

«Лунный купол имени Королёва принял пятую смену молодых планетологов. Двенадцать человек из четырёх Союзов приступили к изучению образцов, доставленных с обратной стороны Луны».

«На Марсе завершён монтаж второй очереди атмосферных процессоров. По расчётам инженеров Федерации Социалистических Республик Америки, к 2140 году давление у поверхности достигнет уровня, пригодного для начала открытого земледелия в экваториальной зоне».

«Алтай, плато Укок. В Центре Горизонт продолжаются подготовительные мероприятия в рамках проекта межзвёздной экспедиции. Подробности — по внутреннему каналу».

Я чуть улыбнулся последней строке. «По внутреннему каналу» — это означало, что остальной мир знал о нас ровно столько, сколько полагалось знать до официального старта. Никакой шумихи, никакой истерики. Люди занимались своими делами: растили хлеб, строили купола, учили детей, восстанавливали популяции животных, спорили о названиях яблонь для

марсианских садов. А где-то на Алтае горстка людей готовилась шагнуть за горизонт. И это было правильно. Это и был тот самый мир, ради которого стоило лететь к звёздам — не плакат и не лозунг, а спокойная, уверенная повседневность, в которой великое совершается без помпы, потому что стало естественным продолжением человеческой природы.

Я свернул повестку и перевёл взгляд в окно. Над плато уже разгорался день — ясный, холодный, с той особой резкостью света, какая бывает только в высокогорье, где воздух настолько прозрачен, что тени кажутся вырезанными из тёмной бумаги. Через полчаса нужно было выходить в медицинский отсек.

Я поднялся, одёрнул свитер и допил остывший чай. Утро начиналось. Обычное утро последних дней на Земле.

Медосмотр. А затем — знакомство с теми, кто полетит со мной к звёздам.

Я вышел в коридор ровно в тот момент, когда в левом верхнем углу поля зрения импланты высветили: «06:50». Без десяти семь — время, которым я дорожил, но которое, как всегда перед медосмотрами, утекало чуть быстрее, чем хотелось, словно сама действительность, предчувствуя неприятные процедуры, ускоряла свой бег.

Коридор жилого сектора уже оживал. Где-то впереди мягко гудела система климат-контроля, нагоняя в переходы тёплый, чуть ионизированный воздух, отдававший слабой горной свежестью. Световые панели под потолком переключились в дневной режим — спектр стал холоднее, бодрее, подражая утреннему солнцу над плато. Навстречу прошла молодая лаборантка из отдела астробиологии, кивнула с рассеянной улыбкой человека, который, вероятно, ещё не до конца проснулся, и скрылась за поворотом, оставив после себя лёгкий шлейф цветочного аромата. Я поправил ворот свитера и зашагал к лифтам.

И тут из-за поворота, у стеклянной перегородки, отделявшей жилой сектор от переходной галереи, показался Тигран.

Тигран Аветисян — наш ведущий астробиолог и по совместительству главный специалист по замкнутым экосистемам. Ему было тридцать два, но выглядел он настолько свежо и молодо, что младшие коллеги порой принимали его за стажёра — ровно до того момента, пока он не открывал рот и не начинал говорить о метаболизме цианобактерий на скалистых экзопланетах с такой глубиной, что даже Пётр Ильич, сам способный прочесть лекцию о кварцитах где-нибудь на марсианском плато, уважительно замолкал и только покачивал головой, словно прикидывая, сколько ещё неизведанного таится в этом смуглом, вечно улыбающемся человеке.

Внешность Тиграна была из тех, что запоминаются сразу и надолго — не броскостью, а какой-то внутренней соразмерностью, словно природа, создавая его, особенно тщательно выверяла пропорции. Среднего роста, стройный, но не худой — скорее, ладно скроенный, с той естественной пружинистостью, какая бывает у людей, выросших в горных селениях, где тело с детства привыкает к перепадам высот и долгим пешим переходам по каменистым тропам. Кожа — смуглая, тёплого золотисто-оливкового оттенка, будто он всегда, даже в самую хмурую погоду, носил в себе немного солнца. Черты лица — крупные, выразительные: высокий лоб, пересечённый едва заметной вертикальной морщинкой — следом напряжённой мысли; густые чёрные брови врзлёт, придававшие лицу оттенок постоянной, но доброжелательной удивлённости; нос с мягкой горбинкой и широковатыми, но благородными крыльями, какие часто встречаются на старинных фресках. Губы — полные, чуть припухлые, словно он только что отпил горячего гранатового сока и ещё не успел остыть от его терпкой сладости. И глаза — глубокие, тёмно-карие, почти чёрные при искусственном свете, но стоило ему оживиться в разговоре, как в их глубине просыпались янтарные искры, и весь он делался похожим на человека, который знает нечто такое, чего не найти ни в одном учебнике. Что-то в его облике и впрямь напоминало кадр из старого фильма «Кин-дза-дза» — только не карикатурного инопланетянина, а, скажем, статного, красивого актёра, который играл бы в той картине роль мудрого странника, забредшего на огонёк из какой-то древней притчи. Я не раз ловил себя на

мысли, что Тигран мог бы с одинаковым успехом стоять у лабораторного стола, сидеть в тени абрикосового дерева с томиком стихов или вести за собой людей через пустыню — и везде он был бы на своём месте.

Одевался он сегодня просто: мягкие брюки песочного цвета, поверх — светлая рубашка с расстёгнутым воротом и лёгкий жилет из материала, напоминавшего войлок, но более тонкого и эластичного, облегавшего плечи с той непринуждённой точностью, какая свойственна вещам, созданным не для украшения, а для удобства. На запястье — такой же, как у меня, био-силиконовый браслет коммуникатора, чуть сдвинутый к тыльной стороне ладони, чтобы не мешал при работе. В руке — неизменный стаканчик с травяным настоем, который он потягивал на ходу, и парок над краем стаканчика вился тонкой, почти невидимой струйкой.

— Андрей Леонидович! — окликнул он меня издали, и в голосе его, мягком и певучем, прорезалась та особая тёплая интонация, которую я про себя называл «ереванским бархатом». — Доброе утро, дорогой. Я уж думал, вы раньше меня в медотсек сбежите.

— Доброе, Тигран Арменович, — я замедлил шаг, и мы пошли рядом. — Не сбегу. У меня, как всегда, без десяти.

— Без десяти — это хорошо. Это значит, успеем поговорить, пока Миронова не начала свои страшные иголки в нас втыкать, — он улыбнулся широко, открыто, и в уголках его глаз собрались лёгкие, почти незаметные морщинки, придававшие его молодому лицу неожиданную глубину.

Говорил Тигран с мягким армянским акцентом — тем особым, певучим выговором, который не заглушал слова, а, напротив, обволакивал их теплотой, заставляя даже технические термины звучать уютно, почти по-домашнему. Гласные он чуть растягивал, согласные смягчал, и в этой его манере слышалось что-то от древних напевов, от долгих застолий, от горного эха. Но когда он волновался — а волновался он чаще, чем хотел показать, потому что за всей его внешней лёгкостью скрывался ум острый и беспокойный, — в речи проскальзывали целые фразы на родном языке, и тогда его тёмные глаза загорались ещё ярче, а руки начинали чертить в воздухе невидимые схемы, будто он пытался вылепить мысль прямо перед собой.

Впрочем, проблем с пониманием не возникало ни у кого. В левой височной области у каждого члена экспедиции, прошедшего предполётную подготовку, размещался миниатюрный, с рисовое зерно величиной, нейро-лингвистический имплант «Лингва-М» — полностью автономное устройство, не зависевшее от оптической системы «Сокол» и работавшее по собственному каналу. Разработка Института Нейроинформатики в Дубне, которую в своё время курировал лично Совет по межсоюзным коммуникациям. Имплант не переводил речь в привычном смысле — не нашёптывал в ухо сухой подстрочник, не накладывал субтитры на сетчатку. Вместо этого он создавал то, что инженеры-разработчики называли «семантическим полем»: в реальном времени анализировал акустический поток, сопоставлял его с контекстом, интонацией, мимикой говорящего и через микроэлектроды, подведённые к зоне Вернике, подавал в мозг уже очищенный смысл — на том языке, который был для слушателя родным. При этом ты продолжал слышать настоящий голос человека — его акцент, его тембр, его дыхание, — просто значение проступало сквозь звучание, как изображение проступает сквозь воду: ясно, естественно, без малейшей задержки. Технологию эту опробовали ещё в многоязычных экипажах Союза и отладили до совершенства; теперь же любой гражданин четырёх Союзов — от Евразии до Океании — мог говорить на родном языке и быть понятым каждым, и это не стирало различий между культурами, а, напротив, позволяло каждой из них звучать полным голосом, потому что когда тебе не нужно переходить на чужой язык, твоя собственная речь становится богаче и искреннее.

— Вчера до полуночи сидел над пробой спор, — продолжал Тигран, отпивая из стаканчика. — Ту самую, что с десятого полигона, с сине-зелёными. Она, понимаешь, в условиях повышенной радиации ведёт себя странно. Не погибает, а как бы сказать затаивается. Как

будто в анабиоз уходит. Վնից էն կտարաւորաբար շիւտրիոյ — он осёкся и дёрнул бровью, заметив, должно быть, мелькнувшую на моём лице тень улыбки, и тут же, по старой, ещё с интернациональных студенческих групп усвоенной привычке, извинился: — Ой, прости, Андрей Леонидович. Это я по-своему: «совершенный анабиоз», полный, понимаешь. Почти как у нас будет в гeибeрнaции. Только без камер.

Он всегда так: стоило ему увлечься и соскользнуть в армянский, как он тут же спохватывался, хотя прекрасно знал, что имплант всё передаст, — но привычка, видно, сидела глубже технологии, и эта милая, чуть старомодная вежливость говорила о нём больше, чем иная развёрнутая характеристика.

— Ты хочешь сказать, что мы с тобой — как сине-зелёные споры с десятого полигона? — я не удержался от улыбки.

— Хочу сказать, что мы с тобой — это мы с тобой. А сине-зелёные споры — это сине-зелёные споры, — он рассмеялся, и смех его, лёгкий и заразительный, эхом прокатился по коридору. — Но сходство есть, да. И если я пойму механизм их устойчивости, мы сможем улучшить протокол гeибeрнaции. Представляешь: просыпаешься после восьми лет — и чувствуешь себя не как размороженный кусок мяса, а — он снова, на этот раз уже без смущения, перешёл на родной: — ինչպիսիսինքն ձեռքով, честное слово!

Я усмехнулся. Имплант послушно передал смысл: «как заново рождённый».

— С таким оптимизмом, Тигран, тебе бы не споры изучать, а стихи писать.

— А я пишу, — он сверкнул глазами, и в их глубине снова зажглись янтарные искры. — Только никому не показываю. Но когда вернёмся — может, почитаю. Если заслужу.

Мы подошли к лифтовому холлу. Тигран чуть замедлил шаг и бросил долгий взгляд в сторону высокого окна, за которым занимался рассвет над плато, — тот самый, что я наблюдал вчера с Балкона, только теперь он был не закатным, а утренним, и от этого казался моложе.

— Красиво, да? — сказал он тихо, без обычной своей оживлённости. — Я каждое утро смотрю и думаю: как повезло нам, Андрей Леонидович. Стоим на пороге. И знаете — он обернулся ко мне, и лицо его стало серьёзным, почти строгим, и эта строгость на его обычно улыбочивом лице выглядела особенно весомо. — Я верю, что там, на Сестре, нас ждут. Не люди, нет. Но что-то. Что-то, что мы должны увидеть. Почувствовать. Понять.

Я кивнул. Говорить ничего не нужно было — он и так всё понимал, как понимал всегда, даже когда я молчал.

Двери лифта разъехались, приглашая внутрь. Тигран сделал последний глоток из стаканчика, смял его в ладони — стаканчик послушно сжался в плотный комочек — и бросил в приёмник переработки; тот тихо пискнул, подтверждая приём органического материала.

— Ну что, товарищ начальник, — он снова улыбнулся, и вся недавняя серьёзность сошла с его лица, как тень облака с горного склона, — идём сдаваться Мироновой?

— Идём, — я шагнул в кабину первым.

Двери сомкнулись за нами, и лифт устремился вниз, к медицинскому отсеку, унося нас навстречу иголкам, пробиркам и бесконечным вопросам о состоянии здоровья. Но почему-то рядом с Тиграном даже предстоящие процедуры казались не такими уж неприятными, и где-то глубоко внутри, под рёбрами, теплилось спокойное, почти детское чувство: пока рядом есть человек, способный рассмеяться перед медосмотром и назвать анабиоз армянским словом, — ничего страшного не случится. Потому что, наверное, это и был тот самый «дом», который мы везли с собой: не стены, не вещи, не свитер матери, а люди, с которыми не страшно замолчать и не страшно заговорить; голос, звучащий музыкой даже тогда, когда говорит о спорах и радиации; и тихое, невысказанное знание, что, куда бы ни занесла нас судьба, рядом всегда найдётся человек, который скажет тебе на своём, родном языке: «ничего, разберёмся», — и ты поймёшь его без всяких имплантов.

Лифт плавно затормозил, и двери разошлись, впуская нас в просторный холл медицинского отсека, где всё дышало иначе: воздух был суше, прохладнее и стерильнее, с лёгким оттенком озона и антисептического раствора на основе молочной кислоты — безвредного, но обладавшего характерным, чуть кисловатым запахом, который я с детства ассоциировал с прививочными кабинетами и белыми халатами. Пол здесь был не матово-серым, как в жилом секторе, а бледно-голубым, почти белым, с мягким свечением по периметру — навигационной разметкой, которая сама указывала путь к разным зонам: диагностическому блоку, кабинетам, процедурным, и ноги сами шли по ней, не требуя лишних усилий.

Тигран пихнул меня локтем в плечо и шепнул:

— Сейчас начнётся. Держитесь, товарищ начальник.

Мы прошли по короткому переходу, и перед нами раздвинулась ещё одна дверь — на этот раз прозрачная, из того же «живого» кварца, что на смотровой площадке, но с зеленоватым медицинским отливом, напоминавшим цвет морской воды на мелководье. Диагностический зал встретил нас тишиной и рассеянным светом, льющим отовсюду и ниоткуда одновременно. Вдоль стен — ряды оборудования, в центре — несколько кушеток с адаптивным гелевым покрытием, способным принимать форму тела и подстраивать жёсткость под любые анатомические особенности. Над ними — сканирующие арки, напоминавшие по форме не то рёбра гигантского кита, не то готические своды: плавно изогнутые, с тысячами микроскопических сенсоров, способных за долю секунды прочесть человека насквозь, от температуры кожи до электрической активности нейронов в глубоких ядрах мозга.

И посреди всего этого, у пульта, стояла старший врач Миронова.

Ирина Павловна Миронова — женщина, про которую говорили: «она не принимает отговорок, но принимает всё остальное». Лет пятидесяти пяти, с коротко стриженными седыми волосами, которые она не красила и не прятала, а носила с тем спокойным достоинством, с каким носят звание или орден. Лицо — строгое, но не жёсткое: тонкие губы, чуть поджатые, когда она думала; глубоко посаженные серые глаза, которые видели, кажется, на два миллиметра под кожу. Морщины у неё были не старческими, а рабочими — те, что образуются у хирурга, который десятилетиями всматривается в операционное поле. Руки — крупные, с длинными пальцами и коротко обрезанными ногтями, сейчас спокойно лежавшие на сенсорной панели. На ней был медицинский комбинезон цвета морской волны, облегающий, но не тесный, из ткани, способной менять микроклимат и отталкивать любые биологические жидкости. На шее, на тонком шнурке, висел старомодный стетоскоп — она принципиально не заменяла его встроенными датчиками комбинезона, считая, что живое ухо слышит больше, чем любой прибор, и хотя сама диагностика давно уже шла через арку, стетоскоп покоился на груди скорее как знак принадлежности к старой врачебной школе, как символ того невысказанного обещания, которое врач даёт пациенту ещё до того, как откроет рот.

— Лацис, Аветисян, — произнесла она, не оборачиваясь; её голос, низкий и ровный, прозвучал как утверждение факта, а не как приветствие. — Без десяти семь. Пунктуальны. Садитесь. Начнём с вас, Андрей Леонидович. Тигран Арменович, подождёте за перегородкой. Чайник там есть, травы ваши тоже, только не запачкайте мне бельё.

Тигран картинно прижал руку к сердцу и удалился за матовую перегородку, откуда через миг донёсся мягкий, убаюкивающий звук льющейся в кружку воды.

Я прошёл к кушетке, снял свитер и остался в лёгкой футболке. Гелевая поверхность под мной мягко прогнулась, принимая форму спины, и тут же чуть потеплела — материал реагировал на тепло тела с той безмолвной, почти ласковой отзывчивостью, какая свойственна хорошо отлаженным вещам. Миронова подошла ближе, и над кушеткой ожила сканирующая арка.

— Полный диагностический протокол «Гибернация-1», — негромко скомандовала она, обращаясь к системе. Арка отозвалась низким, утробным гулом, и по моему телу пробежала первая невидимая волна, словно кто-то дунул на кожу сразу изнутри и снаружи.

Началось то, что мы между собой называли «чтением до костей».

Сначала — термальное сканирование. Миллионы инфракрасных сенсоров в арке за долю секунды построили трёхмерную тепловую карту тела, выявляя малейшие очаги воспаления, скрытые травмы, неравномерность кровотока. Я лежал неподвижно и чувствовал, как по коже проходит лёгкое, почти неощутимое тепло — будто солнечный зайчик скользит от макушки до пят, нигде не задерживаясь, но всё замечая. В левом верхнем углу поля зрения импланты услужливо выводили базовые параметры, которые система считала нужным мне показать: пульс — 62, сатурация — 99%, температура ядра — 36,8. Я моргнул, отключая интерфейс, и закрыл глаза, отдавая себя во власть машины.

Потом — спектроскопия тканей. Арка посылала короткие импульсы ближнего инфракрасного света, который проникал сквозь кожу, мышцы и даже кости, отражаясь от разных тканей с разной длиной волны, и по спектру этого отражения система определяла химический состав клеток, уровень гликогена в мышцах, насыщенность костной ткани кальцием, наличие или отсутствие микротромбов, состояние миелиновых оболочек нейронов — всего того скрытого хозяйства, от которого зависела моя жизнь в гипернативном сне. Моё тело, сам того не замечая, я отдал во власть физики и математики, и оно теперь рассказывало о себе то, чего не знал даже я сам.

Миронова стояла рядом, глядя на разворачивающуюся над пультом голограмму — объёмную модель моего организма, подсвеченную разными цветами. Зелёный — норма. Жёлтый — зона внимания. Красный — патология. Красного, слава богу, не было. Но пара жёлтых пятен — в шейном отделе позвоночника и в районе левого голеностопа — заставили её чуть сдвинуть брови.

— Связки левого голеностопа слегка растянуты, — произнесла она сухо. — Когда успели?

— Две недели назад, на тренировочном выходе в скафандре. Неудачно ступил на склон.

— Вижу. Залечили не до конца. В гипернативии это будет фактором риска: при пониженном метаболизме регенерация тканей идёт на порядок медленнее. Если связки не долечить сейчас, проснётесь с хронической микротравмой. — Она коснулась сенсора, делая пометку, и кончик её пальца оставил на панели едва заметный, мгновенно растаявший след. — Назначу локальный регенерационный гель на вечер. Не спорить.

— Не спорю.

Следом — электрическое картирование. Арка переключилась в другой режим, и теперь уже не тепло, а слабые, почти неуловимые электромагнитные поля касались моей кожи, считывая активность периферических нервов, проверяя проводимость сигналов от спинного мозга к мышцам, выискивая скрытые нейропатии. Я вспомнил, как мать — тогда ещё молодой хирург-офтальмолог — рассказывала мне, мальчишке, что человеческое тело — это, по сути, электрическая симфония: миллиарды нейронов обмениваются импульсами, и каждый из них — как нота. Если в оркестре хоть один инструмент фальшивит, симфония сбивается. А в условиях гипернативии, когда электрическая активность мозга замедляется до дельта-ритмов глубокого сна, а затем почти замирает, эта симфония должна замереть в идеальной паузе — и потом, после пробуждения, зазвучать снова, без единой ошибки. Задача врача — убедиться, что оркестр в порядке и что дирижёр не покинул зал.

— Проводимость в норме, — констатировала Миронова. — Периферическая нервная система в хорошем состоянии. Сейчас возьмём кровь.

Из боковой панели арки выдвинулся миниатюрный манипулятор — тонкая игла, больше похожая на стеклянную нить, вытянутую из расплава невидимой рукой. Я почувствовал лёгкий, почти комариный укол в локтевой сгиб. Боль не пришла: игла была покрыта тончайшим слоем анестезирующего полимера, который блокировал болевые рецепторы в точке прокола. Зато пришла мысль — та, что всегда накатывала в такие моменты: мысль о хрупкости.

Вот я лежу — молодой, здоровый человек, инженер, руководитель экспедиции. Моё тело — это чудо эволюции и инженерии: двести шесть костей, шестьсот мышц, сто тысяч километров сосудов, нейронная сеть, превосходящая по сложности любую вычислительную систему, которую мы когда-либо создавали, — и в то же время такая это всё хрупкая, уязвимая конструкция. Достаточно одной микротрещины в кости, одного тромба в артерии, одного сбоя в электрическом ритме сердца — и вся симфония обрывается на полутакте. За восемь лет полёта, из которых большую часть мы проведём в гибернации, наши тела будут балансировать на грани между жизнью и не-жизнью: температура ядра опустится до четырёх градусов Цельсия, метаболизм замедлится на девяносто семь процентов, кровь заменят на криопротекторный раствор — сложную эмульсию на основе трегалозы и синтетических антифриз-белков, выделенных из антарктических рыб и модифицированных под человеческий организм. Эти белки связываются с микроскопическими кристаллами льда, которые всё равно образуются в клетках даже при самых совершенных методах заморозки, и не дают им расти, разрывая мембраны, а трегалоза — природный дисахарид, позаимствованный нами у тихоходок и арктических насекомых, — стабилизирует клеточные мембраны, замещая молекулы воды и предотвращая денатурацию белков.

Всё это было плодом работы десятков институтов, тысяч учёных, миллионов часов расчётов и экспериментов, и всё равно после восьми лет сна никто не мог гарантировать пробуждение со стопроцентной вероятностью. Девяносто четыре процента — таков был результат, рассчитанный на квантовых симуляторах. Девяносто четыре — это много, убедительно, почти достоверно. Но оставшиеся шесть — это шесть. И они лежали где-то в глубине сознания, как тень от невидимого камня.

Я подумал о том, что скажет мать, если однажды вместо меня из камеры достанут холодное, неподвижное тело, — и поспешно, словно захлопывая крышку люка, прогнал эту мысль.

— Андрей Леонидович, — голос Мироновой вернул меня в реальность. Она закончила анализы и теперь смотрела на голограмму, где плавали колонки цифр, похожие на светящихся рыбок в аквариуме. — Общее заключение: к гибернации годен. Связки полечите сегодня вечером. Иммуноглобулины чуть ниже нормы — вероятно, следствие недосыпа. Вы когда в последний раз спали больше шести часов?

Я задумался. Не вспомнил. Миронова поняла это без слов и покачала головой, и в этом движении сквозила та особая врачебная усталость, которая приходит не от количества пациентов, а от их неизменного неумения беречь себя.

— Ясно. Выпишу вам курс адаптогенов на основе родиолы. Принимать перед сном, начиная с сегодняшнего дня. И не надо мне говорить, что у вас много работы. Работы будет ещё больше, когда начнётся гибернация. А пока — вы мой пациент, и я отвечаю за ваше состояние. Ясно?

— Так точно, Ирина Павловна.

Она чуть смягчилась и едва заметно кивнула, и кончик её стетоскопа качнулся на шнурке, поймав блик от потолочной панели. Потом обернулась в сторону перегородки.

— Аветисян! Хватит там чай гонять. Ваша очередь.

Из-за перегородки послышалось торопливое «иду-иду», и Тигран возник в проёме с кружкой в одной руке и остатками булки в другой. Он оглядел меня, лежащего на кушетке, и подмигнул — весело, заговорщически, словно мы были соучастниками какого-то не вполне легального предприятия.

— Ну что, товарищ начальник, живы?

— Жив, — я сел и потянулся за свитером, чувствуя, как прохладный воздух касается разгорячённой от геля спины. — Ирина Павловна говорит, что годен. Но связки надо долечить.

— А связки — это ерунда, — Тигран поставил кружку на столик и улёгся на кушетку с таким видом, будто укладывался не под сканирующую арку, а на берегу горной речки в после-

полуденной тени. — Вот у меня, знаете, Ирина Павловна, колено правое поскрипывает. Это я в детстве с абрикосового дерева упал. Но это же не мешает гибернации?

— Помешает, если вы будете много болтать и мешать мне работать, — отрезала Миронова, но в уголках её губ мелькнула тень улыбки, быстрая и неуловимая, как солнечный зайчик на стене. — Лежите смирно. Арка, протокол «Гибернация-1», повтор.

Я натянул свитер и, пока Тигран проходил те же процедуры — с той же покорностью и с тем же неизменным бормотанием на армянском, когда арка касалась его особенно чувствительных зон, — отошёл к окну. Диагностический зал располагался на первом уровне, и окна здесь выходили на восток, на горы. Солнце уже поднялось над пиками, и снега сияли такой ослепительной белизной, что пришлось на миг прищуриться, впуская в себя этот чистый, ничем не разбавленный свет.

Человеческое тело хрупко. Это правда, которую не оспоришь ни инженерным расчётом, ни философским трактатом. Но глядя на горы, которые стояли здесь миллионы лет и простоят ещё столько же, я думал о другом: о том, что хрупкость — это не слабость, а условие, при котором жизнь вообще возможна. Жизнь — это не монолит, обречённый стоять вечно; жизнь — это процесс, движение, постоянное обновление, и именно потому, что мы хрупки, мы способны меняться, способны залечивать связки, способны придумывать криопротекторы и антифриз-белки, способны садиться в корабли и лететь к звёздам, прекрасно зная, что шанс — девяносто четыре процента, а не сто. Если бы мы были абсолютно прочны и неуязвимы, мы бы, наверное, никогда не покинули колыбель — нам было бы попросту незачем.

За спиной Миронова что-то негромко говорила Тиграну, арка гудела, и я смотрел на горы, думая о том, что через несколько дней всё это — и горы, и снег, и алтайское солнце — останется за кормой, а впереди будут холод, и тьма, и надежда.

— Лацис, — окликнула меня Миронова. — Свободны. Вечером жду вас с голеностопом. Аветисян — вам предстоит повторить анализ крови после обеда, у вас билирубин на границе.

Тигран обречённо вздохнул, и его вздох был таким глубоким и театральным, что, казалось, дрогнули листья на несуществующих пальмах.

— Это всё моя любовь к гранатовому соку.

— Это всё ваша генетика, — поправила Миронова. — Идите уже. Оба.

Мы вышли в коридор. Дверь за нами сомкнулась, отсекая озон и антисептик, и привычный, чуть влажный воздух жилого сектора обнял нас, как старый друг. Тигран потянулся — широко, с хрустом, словно кот после долгого сна.

— Хорошая женщина. Строгая. Но добрая. Вы как, Андрей Леонидович?

— Пойду в кабинет, разберу отчёты.

— А я — в лабораторию. Меня там цианобактерии заждались. — Он улыбнулся и вдруг добавил, уже тише, без обычной своей искромётной весёлости: — Знаете, я когда лежал там, под аркой, думал: вот сейчас эта штука читает меня насквозь. Все мои кости, жилы, нервы. Но душу она прочитать не может. И хорошо. Душа — это то, что должно оставаться только нашим.

Я ничего не ответил, лишь подумал про себя, что Тигран, как всегда, попал в самую точку — туда, куда никакая арка не достанет. Аппараты не читают душу. Но люди — иногда чувствуют. И это, наверное, и есть главное, что мы везём с собой.

Глава 3.

Мы вышли из медицинского отсека в тишину переходной галереи. Дверь за спиной сомкнулась, отсекая озон и негромкий голос Мироновой, и несколько шагов мы прошли молча — каждый, вероятно, всё ещё ощущал на себе невидимый, чуть зудящий след сканирующей арки, как ощущают запах грозы, даже когда гроза уже миновала. Я уже собирался свернуть к лифтам жилого крыла, чтобы подняться в кабинет и засесть за отчёты, и даже успел машинально коснуться запястья — коммуникатор молчал, — когда Тигран вдруг остановился и придержал меня за рукав, легонько, двумя пальцами, но с той настойчивостью, которая не терпит отказа.

— Андрей Леонидович, — он посмотрел на меня с особой, внимательной задумчивостью, какая бывает у человека, только что принявшего решение и теперь ожидающего, что его спросят: «что такое?» — Я вот подумал сейчас. Вы сказали — к себе, отчёты разбирать. И я сказал — к себе, в лабораторию. И мы, значит, разойдёмся по своим углам, как два сыча. А зачем? Пойдёмте ко мне. Вместе и отчёты ваши посмотрим, и на бактерии мои поглядим. У меня там новая порция данных с десятого полигона как раз подоспела, ночью ещё пришла. И чайник есть. И сушёный инжир из дома прислали — тот, знаете, вяленый, в сахарной пудре, который к чаю идёт так, что за уши не оттащишь. — Он выдержал паузу и добавил, чуть понизив голос, словно сообщая нечто особенно важное: — И потом, я давно хотел вам показать, как они затаиваются. Это надо видеть своими глазами. В отчёте такого не прочтёшь, хоть трижды его вызубри.

Я усмехнулся. Отказывать Тиграну, когда он вот так — с распахнутыми глазами, с инжиром и чайником, да ещё и с обещанием научного зрелища — зовёт к себе, было невозможно. Да и перспектива провести час не над колонками цифр в одиночестве, а в обществе человека, который даже о цианобактериях говорит как о старых знакомых, вдруг показалась куда более привлекательной, чем самый образцовый порядок в отчётных файлах.

— Убедил. Идём.

Мы двинулись по коридору в сторону восточного крыла, где располагались биологические лаборатории. Переход здесь был широким, с высоким потолком и сплошным остеклением вдоль одной стены, выходящей на внутренний двор Центра — небольшой, но тщательно возделанный сад с карликовыми соснами, альпийскими травами и крошечным прудом, над которым сейчас поднимался пар от утренней прохлады, тонкий и прозрачный, как дыхание на морозе. Солнце уже поднялось достаточно, чтобы залить галерею светом, и тени от оконных переплётов лежали на полу ровной геометрической решёткой, чуть скошенной к востоку.

Мы не прошли и половины пути, когда из-за поворота, со стороны лифтового холла, показалась фигура — коренастая, широкая в плечах, одетая в тёмно-зелёный лабораторный китель поверх простого серого свитера. Человек двигался неторопливо, чуть вразвалку, и в самой его походке, в этом размеренном, чуть косолапом шаге чувствовалась та спокойная уверенность, которая бывает у людей, привыкших иметь дело с крупными, сильными и не всегда предсказуемыми существами.

— Миша! — окликнул я, и лицо моё, кажется, расплылось в улыбке помимо воли — так всегда бывало при встрече со старым другом, с которым десяток лет назад делил и аудиторную скамью, и общежитскую кухню, и первые, ещё студенческие, мечты о звёздах.

Михаил Дубровин. Мой старый товарищ по Новосибирскому Университету Биосферных Наук, а ныне — ведущий экзозоолог Центра «Горизонт» и один из немногих людей на планете, которые всерьёз занимались моделированием высших форм животной жизни в условиях экзопланет. Если Тигран копался в бактериях и цианобактериях, если его вселенная простиралась вширь под линзами микроскопов, то Михаил работал на другом конце биологического спектра

— он конструировал и испытывал генетически адаптированных млекопитающих, способных выживать в чужих атмосферах, при иной гравитации и радиационном фоне. Его подопытные — карликовые козы, приспособленные к условиям Марса, лабораторные грызуны с модифицированным метаболизмом, способные усваивать местные аналоги белков, — населяли целый виварий в подземном уровне Центра. И, надо сказать, в обращении со всем этим зверинцем Михаил проявлял ту особую смесь твёрдости и нежности, которая свойственна людям, с детства выросшим среди животных и понимающим их без слов.

Внешность его была под стать профессии — или, вернее, профессия сама вылепила его облик за долгие годы. Невысокий, но крепко сбитый, с широкими ладонями и мощной, чуть наклонённой вперёд шеей — казалось, что сама природа создавала его по образу лесного зверя, который привык к физической работе и долгим переходам по пересечённой местности. Лицо круглое, открытое, с румяными щеками и коротким, чуть вздёрнутым носом, на котором, если приглядеться, можно было заметить россыпь едва различимых веснушек — наследие сибирского детства. Глаза — небольшие, карие, с лукавыми искорками, которые делали его похожим на медведя из доброй сказки: вроде бы и опасен, а всё равно тянет угостить мёдом и выслушать неторопливую историю. Русые волосы, с лёгкой рыжинкой, выгоравшей на солнце до пшеничного отлива, он стриг коротко, но отпустил аккуратную бороду, которая добавляла ему солидности и совершенно не старила. Усы у него были чуть длиннее, чем требовала мода, и когда он улыбался, они смешно топорщились, придавая лицу совершенно обезоруживающее выражение.

— Андрей! — он шагнул навстречу, и мы обменялись коротким, но крепким рукопожатием. Ладонь у Михаила была сухой, горячей и твёрдой, как хорошо выделанная кожа, — рука человека, который не привык к перчаткам и привык к делу. — А я как раз к вам. Ну, не прямо сейчас — сейчас меня Миронова ждёт. Правда, я, кажется, чуть задерживаюсь: она велела в семь пятнадцать быть, но, видно, с вами провозилась дольше обычного. Ничего, Ирина Павловна — женщина строгая, но отходчивая. — Он бросил короткий взгляд на часы, встроенные в браслет, и улыбнулся уголком рта. — Но после осмотра думал к тебе заглянуть. Узнать, как дела перед стартом. А вы, я гляжу, уже не один?

— Знакомься, — я чуть посторонился, впуская в разговор Тиграна. — Тигран Аветисян, наш главный специалист по цианобактериям и прочей микроскопической жизни, которая, возможно, окажется единственной компанией на Kepler-452b.

— Очень приятно, — Михаил протянул руку и Тиграну. — Тигран Арменович, я о вас слышал. Вы же с десятого полигона споры изучаете? Говорят, уникальные образцы. Мне наш завхоз рассказывал: привезли пробу, а она при облучении повела себя так, будто у неё разум имеется.

— Слышали уже? — Тигран просиял и с готовностью пожал протянутую ладонь, и в его глазах снова зажглись те самые янтарные искры, что появлялись всякий раз, когда речь заходила о его работе. — Да, уникальные. Затаиваются при радиации, как медведи в берлоге: замедляют метаболизм до почти нулевого уровня, и снаружи кажется, что они погибли, а внутри — жизнь, тихая, но упрямая. Но вы, Михаил... простите, как по батюшке?

— Да просто Миша, — махнул рукой Дубровин, и усы его смешно дрогнули. — У нас в виварии чины не в ходу, там главное — чтобы козы не бодались и чтобы мыши не сбегали из клеток. А если будешь каждого «Михаилом Петровичем» величать, пока выговоришь — они уже разбегутся.

— Тогда Миша, — Тигран улыбнулся широко и открыто. — А вы, значит, этими самыми козами и занимаетесь? Для Марса?

— Не только козами. И не только для Марса, — Михаил бросил ещё один, уже более спокойный взгляд в сторону двери медотсека, словно прикидывая, сколько минут у него осталось. — Сейчас у меня проект по моделированию пищевых цепей для Kepler-452b. Если там есть

местная жизнь, нужно понимать, сможем ли мы её употреблять в пищу или хотя бы использовать как биомассу. Или, наоборот, не опасно ли наше присутствие для местной фауны — вдруг мы для них окажемся чем-то вроде инвазивного вида? Работаем с модифицированными линиями лабораторных грызунов — тестируем, как их метаболизм реагирует на синтезированные аналоги чужеродных белков. Но это долгая история, на целый вечер разговора. Расскажу при встрече.

— Заходите к нам в лабораторию, — пригласил Тигран, и в его голосе прозвучала та простодушная, лишённая всякой формальности теплота, которая располагала к себе мгновенно. — Мы с Андреем Леонидовичем как раз туда направляемся. Отчёты разбирать и на споры смотреть. И у меня инжир есть — настоящий, из дома, вяленый, в сахарной пудре. И чай с чабрецом. И, может быть, даже сушёная хурма завалилась, если мыши Дубровина до неё не добрались.

— Инжир — это аргумент, — Михаил одобрительно кивнул, и в его карих глазах мелькнуло что-то очень довольное, почти детское. — А хурма — аргумент вдвойне. Договорились. Как Миронова меня отпустит, сразу к вам. Если, конечно, она меня не забракует для гибернации. А то может — вдруг найдут в крови слишком много гранатового сока или, скажем, подозрительную любовь к сладкому. С неё станется: она однажды одного геолога заставила три раза кровь пересдавать, потому что он накануне объелся черники и анализы сбоили.

— О, вы тоже гранатовый сок любите? — Тигран всплеснул руками, едва не расплескав остатки своего травяного настоя. — Тогда вам точно к нам! Это судьба. Я как раз вчера на медосмотре доказывал Ирине Павловне, что гранатовый сок — это не гастрономическая слабость, а культурная норма. Она, правда, не впечатлилась.

— Она никогда не впечатляется, — хмыкнул Михаил. — Но своё дело знает. Ладно, — он кивнул нам обоим и двинулся к дверям медицинского отсека, и его тяжёлые ботинки загудели по светящейся навигационной разметке. Уже на ходу обернулся и добавил: — Андрей, ты это... не пропадай до отлёта. Надо бы хоть раз ещё посидеть, как раньше, по-студенчески. Вспомнить, кто мы и откуда. Успеем?

— Успеем, — пообещал я, и обещание это прозвучало твёрже, чем я ожидал от самого себя. — Заходи вечером, как освободишься. Я у себя. Если не застанешь — ищи у Тиграна в лаборатории, там, судя по всему, теперь будет наш неофициальный штаб.

— Добро, — бросил Михаил через плечо, и дверь медотсека сомкнулась за ним, отрезав от нас его коренастую фигуру и оставив только ощущение крепкого рукопожатия.

Мы с Тиграном продолжили путь. Галерея постепенно сужалась, переходя в коридор биологического крыла, и воздух здесь менялся с каждым шагом — он делался гуще, влажнее, наполнялся запахами, которых не встретишь ни в жилом секторе, ни в инженерных отсеках. Пахло прелой листвой, влажной землёй, лёгким звериным мускусом и ещё чем-то неуловимым — может быть, самим процессом жизни, который шёл здесь круглосуточно, не замирая ни на минуту. Где-то впереди мягко гудели климатические системы оранжерейного блока, и этот гул, низкий и ритмичный, напоминал дыхание огромного спящего существа.

— Хороший человек, — произнёс Тигран задумчиво, когда мы отошли на достаточное расстояние. — Сразу чувствуется — с животными работает. У него взгляд добрый, без подвоха. И руки тёплые. Знаете, есть такие люди: с ними даже молчать приятно. Он из таких, я сразу понял. Вы давно знакомы?

— С университета. Вместе общежитие делили, вместе курсовые писали, вместе экзамены заваливали и пересдавали. Он тогда ещё с мышами возился, мечтал на Марс попасть. Ну, попал — сначала на Марс, теперь вот с нами к звёздам летит. Говорит, что на Kepler-452b обязательно заведёт себе какого-нибудь местного зверька, если таковые там обнаружатся.

— Интересно у нас экипаж подбирается, — Тигран покосился на меня с улыбкой, и в его голосе прозвучала та тёплая, чуть удивлённая интонация, какая бывает у человека, только

начинающего осознавать, с кем ему предстоит делить долгий путь. — Инженер, который стихи в уме не пишет, но думает как поэт. Биолог, похожий на медведя. Астробиолог с инжиром. И ещё врач с характером, которая всех нас держит в кулаке и при этом умудряется оставаться доброй. Дальше, наверное, ещё интереснее будет.

— Дальше — пилот, планетолог и геолог, — напомнил я, и про себя отметил, что Тигран, сам того не зная, только что дал точнейшие характеристики каждому, кого уже встретил. — С ними ты ещё не знаком близко. Но успеешь. Времени до старта хватит.

— Познакомимся, — Тигран толкнул дверь лаборатории и сделал приглашающий жест, чуть шуточный, но полный искреннего радушия. — Заходите, Андрей Леонидович. Сейчас будем пить чай, жевать инжир и смотреть, как спят мои подопытные.

Тигран коснулся сенсора, дверь ушла в стену, и я перешагнул порог, с любопытством оглядываясь.

Комната Тиграна Аветисяна была одновременно и похожа, и совершенно не похожа на мою. Те же пропорции, та же высота потолка, то же «живое» окно во всю стену, сейчас приоткрытое и впускавшее мягкий утренний свет, уже растерявший утреннюю резкость и ставший золотистым, почти медовым. Но дальше начиналась уже совсем другая история — история человека, который не просто жил в Центре «Горизонт», а свил здесь гнездо, полное памяти, тепла и науки.

Стены были оклеены тёплыми бордовыми обоями с едва заметным, чуть выпуклым узором — стилизованным гранатовым деревом, чьи ветви переплетались в сдержанный, ритмичный орнамент, и если долго смотреть на них, начинало казаться, что они слегка колышутся от тока воздуха из климатической системы. У стены стоял массивный сервант из тёмного ореха, с резными дверцами и бронзовыми ручками в виде виноградных листьев — каждая, видно, была отлита вручную и хранила на себе следы многих касаний. За стеклом поблёскивал кофейный сервиз тонкого фарфора с ручной росписью — Арарат в лучах утреннего солнца, и гора на чашках и блюдах повторялась в разных оттенках синего, от бледно-голубого у подножия до густо-кобальтового у вершины. Рядом, чуть не вписываясь в общий ретро-стиль, тихо гудел холодильник «Эверест» — громоздкий, с округлыми формами и хромированной ручкой, модель ещё двадцатых годов, модернизированная, как потом пояснил Тигран, магнитокалорическим модулем вместо компрессора, отчего работал он почти бесшумно. Над сервантом, заняв почти всю стену, висели портреты в деревянных рамках: строгая женщина с тёмными глазами и серебряными прядями в волосах — бабушка, догадался я сразу, по тому, как Тигран задержал на ней взгляд; крепкий мужчина в альпинистской куртке на фоне заснеженных вершин — отец; и совсем молоденькая девушка, смеющаяся в объектив, с веткой цветущего миндаля в руках — мать Тиграна в юности, ещё до его рождения, когда весь мир был молод и полон обещаний.

Но всё остальное пространство комнаты принадлежало не быту, а науке.

У противоположной стены, аккуратно вписанная в нишу, которую Тигран, судя по всему, спроектировал сам при заселении, располагалась его домашняя лаборатория. Это не было похоже на казённую аппаратную медицинского отсека — скорее, на мастерскую алхимика, влюблённого в своё дело. Длинный стол, накрытый матовым антистатическим покрытием, был уставлен приборами, которые он ласково называл по именам, словно домашних питомцев.

Центральное место занимал микроскоп-спектрограф «Арагац-М» — разработка ереванского Института Оптической Электроники. Внешне он напоминал старый биноклярный микроскоп из университетских лабораторий двадцатого века — с бронзовыми ручками фокусировки и наклонным тубусом, — но это впечатление было обманчивым. Внутри корпуса, отделанного деревом — Тигран сам выточил накладку из ореха, под цвет серванта, — скрывалась оптика на основе метаматериалов с разрешением до единиц нанометров, а встроенный спектрограф позволял снимать рамановские спектры прямо с живой клетки, не убивая её и

не нарушая её внутреннего равновесия. Рядом стоял термостат «Витязь» — прозрачный куб из кварцевого стекла, внутри которого, на тончайшей гелевой подложке, покоились десятки чашек Петри. Температура, влажность, состав атмосферы, уровень ультрафиолета — всё регулировалось с точностью до десятых долей, имитируя условия экзопланет, которые Тигран моделировал с той одержимостью, с какой художник подбирает оттенки для фона.

Возле термостата выстроились в ряд колбы и биореакторы — миниатюрные, размером с ладонь, с питательными средами разных оттенков: от густо-зелёного, как ряска на пруду, до бледно-голубого, почти прозрачного, как утренний лёд. Над каждым биореактором горел крошечный индикатор — зелёный или жёлтый, — безмолвно сигнализируя о состоянии культуры. Слева примостился анализатор газового состава «Воздух-4» со щупальцами тонких трубок, уходивших куда-то вглубь термостата; справа — центрифуга «Юла», чей ротор сейчас был неподвижен, но, как я знал по опыту, мог раскручиваться до шестидесяти тысяч оборотов в минуту, разделяя клеточные фракции с ювелирной точностью.

И над всем этим, на стене, за стеклянными дверцами старого навесного шкафчика — потёртого, с облупившейся по краям краской, — хранились книги. Настоящие, бумажные, с пожелтевшими от времени страницами: «Определитель цианобактерий» в твёрдой обложке, «Основы астробиологии» с закладками-стикерами, «Экология микроорганизмов» Костичева, потрёпанный томик Вернадского «Биосфера и ноосфера» и, что меня особенно тронуло, сборник армянских сказок в яркой обложке, на которой золотой дракон обвинял гранатовое дерево.

— Располагайтесь, — Тигран кивнул на венский стул с гнутой спинкой у края стола, а сам прошёл к термостату и прильнул к окуляру «Арагаца», и вся его фигура, ещё минуту назад расслабленная и домашняя, обрела ту особую сосредоточенность, какая бывает у человека, заглядывающего в невидимый мир. — Я только проверю, как там мои красавицы.

— Красавицы? — я сел, и стул подо мной отозвался лёгким скрипом — тем самым, что бывает только у старой, хорошо сделанной мебели, — и с интересом наблюдал за его манипуляциями.

— Цианобактерии рода *Chroococcidiopsis*, модифицированные, — не оборачиваясь, пояснил он, и его пальцы тем временем легли на ручку фокусировки с привычной, почти ласковой точностью. — Те самые, с десятого полигона. Я вам вчера говорил. Не смотрите, что они микроскопические — каждая из них, знаете, как маленькая крепость. Оболочка у них из трёх слоёв: внешний — полисахаридный матрикс, который впитывает радиацию, как губка воду; средний — слой белков-антиоксидантов, которые нейтрализуют свободные радикалы быстрее, чем те успевают повредить ДНК; и внутренний — мембрана, защищённая трегалозой, той самой, которую мы в гибернационные растворы добавляем. Когда они попадают в жёсткие условия — радиация, засуха, холод — они не погибают, а затаиваются. Сворачивают метаболизм в точку. Почти как мы с вами через несколько дней.

Он оторвался от окуляра и посмотрел на меня с тихой гордостью — той, что не требует признания, а просто светится изнутри.

— Я их сейчас на специальной среде держу, с добавлением изотопа углерода-13. По тому, как они его усваивают даже в полу-анабиозе, я могу рассчитать скорость их метаболизма. И знаете, что обидно? Они справляются с радиацией раз в десять лучше, чем наши лучшие криопротекторы. Если я разгадаю их секрет — тот самый механизм, который они включают при повреждении ДНК, — мы сможем поднять шансы пробуждения после гибернации. Может, не до ста процентов, но до девяноста девяти — я почти уверен.

Он прошёл к чайнику — тоже не казённому, а своему, пузатому, керамическому, с нагревательным элементом на графеновой плёнке, — и, пока вода закипала, издавая тихое, убаюкивающее шипение, достал из холодильника «Эверест» блюдо с сушёным инжиром в сахарной пудре и баночку абрикосового варенья, на которой чьей-то заботливой рукой была выведена этикетка: «Հնիքի, 2127» — «Июнь, 2127».

— Вы пейте чай, Андрей Леонидович, — сказал он, пододвигая ко мне кружку с армянским орнаментом по ободку — тонким, золотисто-коричневым, — и загляните в термостат. Это, знаете, завораживает. Даже лучше, чем отчёты.

Я взял кружку — она была тёплой и грела ладони ровно той температурой, какая бывает у вещей, хранящих человеческое тепло, — и подошёл к термостату. За прозрачным кварцевым стеклом, в зеленоватой среде, покоились крошечные колонии: невидимые невооружённым глазом по отдельности, но в массе своей образывавшие бледно-зелёные, почти изумрудные пятнышки, похожие на мох. Они действительно спали — не мёртвым сном, а тем особым, замедленным, бережным сном, в котором угадывалось дыхание, пусть и почти неуловимое. И в этом сне было что-то такое, отчего мои собственные тревоги о предстоящей гибернации вдруг отступили, стали меньше и понятнее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.